

Мария Аввакумова



Стихи
Марии

Мария Николаевна Аввакумова

Стихи Марии

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=23800688
Стихи Марии: Сказочная дорога; Москва; 2014
ISBN 978-5-4329-0059-3

Аннотация

Мария Аввакумова родилась в д. Кондратовская (Пучуга) Верхнетоемского района Архангельской области. Училась в Казанском университете. Поэт, очеркист, переводчик. Член Союза писателей России. Её стихи включены во многие антологии поэзии. Лауреат международной премии «Золотое перо» (первое место в номинации «Лучшее патриотическое стихотворение») – 2006 г. Трижды награждалась ежегодной премией журнала «Наш современник», лауреат Международной Есенинской премии (первое место в номинации «Большая премия») – 2012 г.

В настоящую книгу вошли стихи разных лет, а также новые и ранее не публиковавшиеся. Боль за Отечество наше и трепетная любовь к нему, надежда, что Россия выйдет из «чёрного тумана», и обнаженная искренность, так поражающая читателей, – характерные черты поэзии Марии Аввакумовой. Упоителен, по словам Юрия Кузнецова, молитвенный шёпот ее стиха.

Содержание

Страница русской поэзии	8
Поэт из Аввакумова рода	10
Стихи разных лет	16
Ясное имя	16
«Мамке Волге поклонюсь...»	17
«Природе что́: она то шьёт, то порет...»	18
Чёрные нитки	19
Под звёздами	20
(Коля Тряпкин)	21
Пикалка	22
«Цветок засохший, безуханный...»	24
«Наши матери стали старыми...»	26
«Какие-то люди... с какою-то тёмной любовью...»	27
«Земля пролетает в молозиве...»	28
Рождественская звезда	29
Образ Тихвинской Божьей Матери – покровительницы Севера	30
Устюжская икона[1]	31
Отец	33
«Рождённый в песках, в пещере...»	34
Слава меж людьми и венки мученические[2]	35
«Опять лечу под облаками...»	37

Трамвай мечтаний	38
«Благовещенье – Боговещание...»	40
Плач неродящей матери	41
«Мёртвый человек прикоснулся ко мне рукой...»	43
Ливанская песня	44
«Горе мне! Я тебя не забыла...»	46
Июньское	47
Зелёный триптих	48
1	48
2	48
3	49
«Дай мне, Земля... дай подглядеть...»	51
«Дерево с обломанными ветками...»	52
Речь	54
«Если Слово прекрасно...»	56
Ранние стихи	58
Конь ломовой	58
Путешествие (Северные реки)	59
Маме поле	61
Жаворонок	62
Фотография, где мы рядом	63
Явление двойной звезды	64
Секрет белоснежных простынок	65
Ласточка	67
Болотные песни	68

«Кто это там, среди могил...»	70
Одинокый всадник	71
Прошение	72
«Какое-то другое тесто...»	73
Пристань Тихонь	74
Возвращение с юга	77
Прогулка	78
Пространство	79
Поздняя гостья	80
«Сумасшедшая лошадь...»	82
Детский концерт в инвалидном доме	84
Ожидание снега	85
Если души переселяются	86
Утица летела	87
«Вы, женщины с мужскими лицами...»	89
Завод	91
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Мария Аввакумова

Стихи Марии

© Аввакумова М. Н., 2014

© Издательский дом «Сказочная дорога», оформление,
2014

* * *



Страница русской поэзии

На далеком Севере, среди глухих лесов и мшистых болот, в древнем селенье Пучуга родилась самобытная поэтесса Мария Аввакумова, странница русской поэзии.

Ее родословная знаменательна: среди ее отдалённых предков должно назвать огненного протопопа Аввакума. Вот так-то!

Узорочье ее поэзии идет непосредственно от Николая Клюева. Ее космос, осиянный полярным сиянием, полон опасностей.

*Земля пролетает в молозиве
Враждующей с нами материи...*

Молитвенный шепот ее стиха упоителен, глубокая боль ее отзывчивого женского сердца заставляет сопереживать, а, например, такое пронзительное стихотворение «Плач неродящей матери» способно вышибить слезу даже из сурового человека.

*Привет тебе, Мария Аввакумова!
Слава Богу, жива еще русская поэзия!*

1 декабря 1999 г. Ю. Кузнецов

Юрий Кузнецов

Поэт из Аввакумова рода

Разгадывая Россию, Ф. И. Тютчев породил россыпь новых загадок:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Всю непростоту этого четверостишия я ощутил, когда понадобилось перевести его на английский язык для выходявших на Западе «Строф века». Стихотворный перевод далеко отходил от первоисточника, а прозаический упрощался до неуклюжей дидактики. Князь Дмитрий Оболенский, ради смысловой точности решивший излагать стихи честной прозой, сдался и не включил этих гениальных четырех строк в свою антологию.

Но помогавший мне аспирант Филадельфийского университета Джордан Брэдли сумел создать маленький шедевр перевода, в котором сохранена и красота оригинала, и оригинальная рифмовка:

Russia can't be grasped by the mind,
Ordinary yard stick will deceive.
Her nature is a special kind –

In Russia one can only believe.

В сказке Андерсена в конце концов появился такой мальчик, который с веселой, но прозорливой беспечностью ошарашил окружающих криком: «А король-то голый!»

В нашем царстве-государстве в канун, как сейчас принято говорить, «лихих девяностых» произошло нечто подобное. Во глубине отечественных «северов», где издревле от гонений царской, а затем и советской власти укрывались староверы, в разгар большой войны родилась в многодетной крестьянской семье поздняя девочка Мария Аввакумова. И ей было суждено с грустной усмешкой и, видимо, с не менее грустным вздохом изменить у Тютчева всего лишь одну, последнюю строчку, отчего его афоризм не то что совсем рассыпался, однако, осторожно скажем, сильно пошатнулся:

«Но сколько можно только верить?!»

Так как Тютчев ставил веру в России выше доказательств, а новейшая история явно подорвала эту веру, то Мария Аввакумова, происходящая из неробкого Аввакумова рода, попала подобно собственному далекому предку в самую болевую точку своего времени.

Пронзительно описала она северное старообрядчество в лирико-историческом эссе «Гонимые», на удивление глубоко проникая в его незащитно героическую суть. Аввакумова доказывает, что приверженцы древнего благочестия, вынужденные защищать свои обычаи и устои самосожжением,

не были слепыми фанатиками.

Это изуверства власти доводили до крайности людей, в убеждениях которых не было человеконенавистничества, им приписываемого.

«Карательные отряды... дознаватели... осведомители... Вот так загоняют зверя на ружье охотника. И горели по Северу России живые, воем воющие костры. Отчеты воеводам и рассказы исторических писцов пестрели такими, в основе своей схожими, текстами: «Посланные же от воеводы егда хотели взять их, они раскольщики учинились сильны и не дались; ...и те свои храмины... обволокли соломою и зажгли, и сами в них сгорели». Команды стрельцов изымали в хозяйствах сгоревших старообрядцев хлебные запасы. <...> Потом, вторым заходом, карательные экспедиции забирали скот, оставляя уцелевших членов старообрядческих семейств ни с чем, то есть на голодную смерть».

С той поры верховья Северной Двины оставались одним из центров старообрядчества на Русском Севере вплоть до 30-х годов XX века.

«Вплоть до того самого времени, – продолжает Аввакумова, – что хищно нацелилось на моих прадедов и дедов и загнало-таки их в волчьи ямы, лишив меня чудесного знакомства хотя бы с кем-то из них. Лишило даже малой толики – возможности прийти на их могилы...»

Конечно, при раскулачивании первыми жертвами на Севере были староверы, потому что вызывали зависть у пьяниц

и лодырей своим трудолюбием.

Вот полное отчаяния письмо деда Марии Аввакумовой, Ивана Яковлевича Силуянова, в комитет бедноты, когда семью объявили кулацкой и стали отбирать последнее: «...имел свой хлеб, то только лишь потому, что обращался хорошо с землей, что она требовала; и в настоящий момент изъят весь из моего хозяйства <...> Все сборы уплачены. Больше нет ничего. Как хотите. С 1929 г. работаю на лесозаготовках и сплаве беспрерывно. Семейство мое пять человек, один трудоспособный. Отец – 81-го года – который раньше был у старообрядцев за старшего путеводаителя и который отказался <от этого> 12 мая 1929 года. Отец жил без жалованья за свой труд. Мать 79-ти лет требует ухода. Вот всё это трудно приходится переживать. Но в то же время и меня поставили кулаком. Прошу президиум с/совета <...> освободить от этого кулачества. Все повинности оплачиваются в свое время. Но сейчас боле нет невозможности».

Следом отсылает письмо в райком партии и его жена, Прасковья Фёдоровна:

«Прошу партийную организацию рассмотреть мое заявление и ответить мне за что нас эдак. Всё распродали всё дочиستا. Одна была корова, и ту увели. Одну избу продали, вторую продают <...> я им говорю, а я то куда. Председатель сказал кулакам нет ничего и не будет».

Вот какой он был, рабоче-крестьянский рай, по Сталину. Даже слезы заледеневают в глазах от холодности власти к

своему народу.

«Будем считать, что это и есть я – диковинный отголосок всех прошедших с той поры времен в попытке увидеть свои же подземные корни, на которых всё еще, хоть и не цвету, но стою – не падаю. И сколько это удовольствие будет продолжаться, не вем», – так аттестует себя Мария Аввакумова в очерке «Гонимые», больше похожем на поэму.

Никто из нас не хочет чувствовать себя без роду, без племени. Но странно, непривычно, неуютно Марии Аввакумовой в нашем капитализме *a la russe*. Невозможно вообразить ее смотрящей телепрограммы о нынешней хвастливо-распустежной попсе «Живут же люди!» или «Ты не поверишь!». Она необыкновенно чистый, целомудренно неотделимый от природы человек, по-своему религиозный, и это ее право.

Был у нее, правда, период какого-то нравственного сбоя в девяностых, когда у многих из нас столько всего накопело, что трудно было толком разобрать – на кого. Но начинать поиски виноватых надо с самих себя. Надеюсь, она поняла это.

Переписываясь с нею, я поражался ее обнаженной искренности, даже когда мы яростно спорили. Боюсь, что сейчас такие уже не рождаются.

Главная ее автобиография – это, конечно, «Гонимые», история ее рода. Эту впечатляющую прозу нужно обязательно включить в итоговую большую книгу стихов Марии Аввакумовой – книгу, которая, думаю, откроет ни на кого не похо-

жего, с глубокими народными корнями поэта.

Хочется закончить цитатой из «Гонимых»: **«Общеродовая судьба** – это кажется невероятным обобщением, но есть же такие всеми любимые, всеми оцененные сорта садовых деревьев, со своей селекционной историей. Никто этого не отрицает. Почему же надо отрицать судьбу рода?»

А разве слово «родина» не происходит от слова «род»?

Евгений Евтушенко

Стихи разных лет

Ясное имя

Не бойся быть русским – не трусь, паренёк,
Не бойся быть русским сегодня.
За этим не заговор и не намёк,
За этим – желанье Господне.

Он нас породил.
Он один и убьёт.
А прочие все – самозванцы.
Да их ли бояться! Не трусь, паренёк,
На русский призыв отзываться.

Прекрасное, ясное имя Иван.
Чудесное имя Мария.
Светите друг другу сквозь черный туман,
В который попала Россия.

1990-е годы

«Мамке Волге поклонюсь...»

Мамке Волге поклонюсь.
Батьке Дону улыбнусь.
Помолюсь гряде свинцовой,
Небо – это тоже Русь.

Я – чудная, ты – чудак,
Съехал с матицы чердак.
Помолюсь звезде лиловой
Под созвездьем странным – Рак.

Где ни ступишь – бурелом,
Надоело – напролом.
Помолюсь судьбе бедовой,
Чтоб не прыгала козлом.

Мамке Волге, батьке Дону,
волку, белому батону,
вербе тихой помолюсь,
к лику Божью прислонюсь:

поддержи мя, Вседержитель,
я немножко тоже Русь.

«Природе что́: она то шьёт, то порет...»

Природе что́: она то шьёт, то порет,
то солнце выкатит сизифье – и народ
хоть в пляс иди... А то опять Федоре
на грядки море выльет в огород.
А то закрутит больно ивыи руки
да по щелям, как бес, заверещит.
Природе что! Ещё не то от скуки,
бывает, совершит.

Ей спишется. Она – сама царица
и госпожа всему. Зато сию сейчас,
прижавшись к печке тёплой, и страница
белеет парусом лирическим у глаз.
Ну что же, длись, нескладная погода,
унылый май и холода застой.
Сейчас со мной и воля, и свобода,
и мне тепло от печки золотой.

Чёрные нитки

Устала быть всезнающей змеёй.
Устала от черняги испытаний.
Я – целый век, при всех царях – изгой,
устала от привычки улетаний.

Литавр не бил и не сверкала медь:
Я их своей рукою отстранила.
А то, что мне хотелось бы иметь...
нечистая смахнула сила.

А всё-таки хорошее сказать
так хочется об этой жизни-блудне,
оставить слово, даже слог связать
из сумасбродства буден (или будней).

Уж солнечной и светлой не прослыть.
Но оцени, Господь, мои попытки
луч света спеть, изобразить иль свить.
Но под рукою чёрные все нитки.

Под звёздами

Где Север – там ещё, как инок на столбах,
стоит какой-то свет, хоть всё вокруг погасло.

...Я ничего не знаю о звездах,
не смыслю ни аза в простом и ясном.

И если коростель-дергач и он же драчик
трещит всю ночь в один и тот же тон,
что делает он: славословит?.. плачет?..
Иль молится самозабвенно он?

Не знаю... Нет, не просто всё ночное.
Как омут – сон людишек-карасей,
где ловит нас на свой крючок иное,
к чему не подступиться жизнью всей.

(Коля Тряпкин)

Плакал поэт над своими стихами,
плакал, что их написать дал Господь,
а над бессильными телесами
женскими складками падал исподь.

Был он по немощи страшной обряжен
в бабью рубаху и чисто побрит,
был он помыт и, как кукла, усажен
в угол постели, да там и забыт.

Строчки ему прочитает Наташа.
Строчкой своей содрогнётся старик,
и изо рта выползает, что каша,
речи творить отказавший язык...

Словно грядущая мира кончина
рядом присела к нему на кровать.
Тут погибает не просто мужчина –
русского духа боянова стать.

Пикалка

Я мукалка, я пикалка:
пипи-муму-хаха.
Зверушка-недотыкомка,
промашка петуха.

Я пикалка, я мекалка:
пипи-хаха-меме.
Такая моя песенка,
и я в своём уме.

В своём уме, не в вашенском:
пипи-хихи-хаха.
Хлебнёшь ли чистой,
кашинской,
а лезет требуха.

Всё хрен да чепуховина...
И каждый божий час
какая-то хреновина
растёт в стране у нас.

И через эти тернии,
древняя с каждым днём,
мы с мукалкой,
мы с пикалкой,

куда-нитось бредём.

Куда-нитось да вышвырнет
витиеватый путь,
и выучен, и вышколен —
наступит новый жуть.

«Цветок засохший, безуханный...»

*Цветок засохший, безуханный,
Забывтый в книге вижу я...*

А. Пушкин

Играют дяди в миротворцев,
играют тети в лекарей,
а кровь... а кровушка все льется
из нас – азийских дикарей.

Им вздумалось вложить в компьютер
все наши нежные миры,
извлечь итог за три минуты
высоколобой их игры:

куда нам плыть... когда... далече ль...
и сколько жить оставить нас,
кого-то завтра покалечить,
а этих погубить сейчас.

А все ли там у них в порядке,
в их намагниченных мозгах?
Кто как, а мне темно и гадко
жить в надзираемых снегах.

Ты жив ли, брат, и ты жива ли,
и есть ли где вам уголок?
Или уже мы все пропали,
как сей неведомый цветок?

«Наши матери стали старыми...»

Наши матери стали старыми,
стали слабенькие совсем.
Наши матери знали Сталина,
знали прелести разных систем.

Да и мы уже столько закуси
поиспробовали на веку:
и Занусси там был, и «Затеси»...
Пир запомнится бедняку.

Запрягай опять клячу тощую,
разбросай пашеницу и рожь.
Напрягай опять жилы-мощи-то:
сей добро – никогда не помрешь!

...Собираются мамы старые
с узелочками – в старину.
Наши матери знали Сталина.
Наши дочери – Сатану.

«Какие-то люди... с какою-то тёмной любовью...»

Какие-то люди... с какою-то тёмной любовью...
Бог с вами! да что же вам надо от нас?
Мы, россы, ведомые тёмной неспешною кровью,
без вас обойдёмся на нашей земле без прикрас.

Что в помыслах ваших: найти развлеченье от скуки?..
Подспудное зверство: кого бы замучить и вам?..
Идите себе!.. Я отвожу свои руки:
и вашу в свою не возьму, и свою не подам.

Такие ль вцеплялись в нее сипуны-вурдалаки,
такие ли птички желали ее щекотать,
да хватит об этом... Когда-то мы были варяги!
Теперь – доходяги. И вот он бесчинствует – тать.

Какие-то люди у нас, с иноземной любовью.
Гляди: окружают заботой, идут по пятам.
Но я на лукавые зовы не дрогну и бровью.
И я их руки – не возьму. И свою – не подам.

«Земля пролетает в молозиве...»

Земля пролетает в молозиве
враждующей с нами материи –
как будто сквозь доли колхозные,
где выросло, да поутеряно;
где мы, как колосья съедобные,
стоим-дозреваем-качаемся...
в земные свои неудобия
камнями обиды кидаемся.

...

Но мне – угольку человечества, мне
к пламени честному хочется,
где детство невинное греется
для будущего одиночества.
Всё там – что случилось хорошего.
Всё там – у печурки за Вологдой,
где тёплых поленьев nanoшено
судьёй человечьего холода.

Рождественская звезда

Омовейное нежное детство –
даже в голоде, вошках и струпьях, пожалей
меня словом жалейным
под холодные вьюжные хлопья.
Словом-звуком... глубоким, коровьим
подыши в свои тёплые ноздри,
словно в сеннике, в яслях господних –
предрождественской россыпи звёздной.

И забьётся во мне ретивое,
и сомнётся в прощённой обиде,
и сквозь пласт заглушённого воя
из нутра что-то тяжкое выйдёт.
Выйдет-выпадет-грянется оземь...
и тогда-то взойдёт из печали
золотая! – овечья и козья –
и обнимет, как мамка, лучами.

Это gloria! Это свеченье!
Это слёз перекушенных струйки...
вихре-конь... столбовое верченье...

и мороза звенящие сбруйки.

Образ Тихвинской Божьей Матери – покровительницы Севера

Образ Тихвинской, написанный Лукой...
Сколько чудного за бедной сей строкой:
в тёмной зелени протеплевших небес
луч ли... серп ли магнетический воскрес.

Нечто жизнью переполненное там:
мать с дитём?.. иль ветер бродит по стогам,
загибая кудреватые верхи?..
Небеса вокруг пустынно и тихи.

Только пуще виден он со всех сторон –
розоватый серп как есть окровавлен,

и прозреешь – только резь пройдёт в очах –
золотые нимбы сполохов в ночах.

Образ Тихвинской, написанный Лукой.
Ангел Севера водил его рукой.

17.04.96.

Светлая среда

Устюжская икона¹

Намалеваны в соборе Устюжском
иконы с любовною страстию:
чьи-то дролюшки, чьи-то утушки,
безымянные Марьи да Настюшки.

И черны они, и красны дотоль,
что икон мы таких не видывали.
На щеке – пожар, на руке – мозоль...
А пожгли-то их, повыкидывали!..

Побывали вы, Марьи, на паперти.
Посидели вы, Насти, во заперти.
На печных горшках покривили рты.
Покатали на вас рубелём порты.

...Вот хожу я по городу Устюгу,
по Великому Устюгу Сухонскому.
Во реке ребятишки сопливые,
В учрежденьях людишки сонливые.

А во главном соборе святынями
развеселые ряхи крестьянские.

¹ Одна из поздних иконописных школ. Отличается большим своеобразием, народным духом.

Полыхают глаза окаянские:
карим-карие, синим-синие!

Отец

Он не знал, как сделать,
чтобы его любили,
чтобы его любил
хоть кто-то на этом свете.
Он не знал. И поэтому
Жил сам-один незаметно.
Как соловей в куртине.
(А может – Христос в пустыне.)

Как соловей одинокий,
в шапочке такой же татарской,
в таком же халате сером,
сером халате больничном –
соловей стариковской больницы
с последнею кличкой «профессор» –
отец! – соловей отпетый.
(А может – Христос распятый.)

О, спой мне, отец, сквозь чашу,
сквозь непроходимую толщу...
И, может быть, я услышу,
пойму тебя сердцем прозревшим.
(А может – Христос воскресший.)

«Рождённый в песках, в пещере...»

Рождённый в песках, в пещере
под тёплые вздохи волов,
Ты был ли? Но искренней вере
не нужно ответных слов.
Кто верит, тот видит и знает,
и жизнь свою делит с Ним.
А Он – как ему подобает –
не всякому зрящему зрим.

Слава меж людьми и венки мученические²

Приспевает время мучеников, что спасут народ и други.
Приспевает время лучников, время шлема и кольчуги.
Кузнецы! мечи выковывай из победно-звонкой стали,
блеском стали очаровывай замохнатевшие дали.

Раздувай дыханье горнее: скоро, скоро время спросит,
скоро, скоро горе-горюшко верных рыцарей подкосит.
Упадут они, емелюшки, не с девчатами в солому,
упадут они в земелюшку, чтобы дать простор живому.

Плачей отвоюют души их на погостах древнерусских
так, как будто самолучшие отплывают в лодках узких.
Над озёрами заволжскими, где стрижи с водой забавятся,
новые кресты да колышки к мёртвой городьбе
прибавятся.

А когда с землёй сравниются скромные захоронения,
люди с этой бойней справятся и – на новое сражение.
Так – всегда. Не позабыты вы, шлем с кольчугой
харалужною.

Слава меж людьми – убитому! Слава в небесах –
живущему!

² Из старинного псалма.

«Опять лечу под облаками...»

Опять лечу под облаками,
и так дорога не легка.
Машу крылатыми руками,
тщусь пересилить облака.

Они же с часом всё тучнее,
ретивей прут наоборот;
темнее в небе и влажнее,
вот-вот и ливнем обольёт...

А всё далёко и далёко
Подол и Вышний Волочек.
И волооко-волооко...
Курлы!.. и губы на крючок.

И вот опустишься на землю,
что в ад. Зачем стремилась зря!
Здесь псы тревожным слухам внемлют
да рыщут внуки октября.

Трамвай мечтаний

Быть может, дышу я... быть может, живая
лишь для того, чтобы дорассказать
эту историю-судьбу трамвая,
что, лбину железную в кровь разбивая,
безумец! торопится нас спасти.

...Вот он бежит,
глаза разбрызгивая,
спрямляя пути-кривули.
Несётся – красный,
гремит кастрюлей,
забытых в ночи разыскивая.

Чудак! или сам он покоя не хочет?
или не жалко вагоновожатую?
она же по-детски совсем хохочет...
она же хорошего только хочет...
а надо – сквозь ночищу клятую!

А ночь припасает такие (!) оказии,
такие безумства вагоны знают,
такие дремучие вваливаются азии...
а ты одна в кабинке трамвая,
а ты одна глазастою ведьмою
на помелище огненном этом

летишь, громыхая... И всё ты изведаеть,
пока долетишь-доползёшь к рассвету.
Вагоновожатая! девочка... дурочка...
Светится насквозь душа без изъяна.
А жизнь... она редко дует в дудочку,
всё больше лупит по барабану.

И станешь однажды седины подкрашивать,
ржавея вместе с трамвайной торбою,
где мало радостей,
где много страшного
за годы мученства скопится скорбного.

...Но мне привиделось, нет, не старение –
а распрямление спины робеющей
и праны праведной серебрение,
и ты над рельсами – в полёте бредущем...
в полёте бредущем над миром зреющим.

«Благовещенье – Боговещание...»

Благовещенье – Боговещание.
Это музык с небес обещание.
Ибо отрок Свиридов тамотки
изучает небесные грамотки.
Ибо душ накопилось невинных,
загублённых напрасно, – невидимо!

Кровью-калом земля унавожена,
на лопатки пред хамом положена,
вся изорвана, вся измучена...
Разве только на дыбу не вздрючена.

Стольки веки побоища, срамища...
Жуткозверья шатается мамища –
сатанинская спесь.
Этак в диком лесу,
этак в лешьей тайге только есть.

Богородице-Дево-Заступница,
на Тя уповаем днесь.

Плач неродящей матери

Маленький, родненький мой! –
ты не со мной, не со мной.
Нет тебя, не было вовсе.
Ты не пришел сюда в гости.

Я без тебя где-то здесь...
Ты без меня где-то там...
Страшную эту мечь
не пожелаю врагам.

Жалкая меж матерей,
нищая – всех я нищей.
Кто растолкует мне смысл
тщетных моих мощей?

Но – приготовил век
радость и для меня:
ты не умрешь вовек,
ты избежишь огня,
ты не уйдешь в Афган,
ты никого не убьешь,
ты ни в один капкан,
мальчик, не попадешь...

Жалкая меж матерей,

вот я! – счастливей всех!
Слушай же, небо-зверь,
мой сатанинский смех.

«Мёртвый человек прикоснулся ко мне рукой...»

Мёртвый человек прикоснулся ко мне рукой.
Мёртвый человек хотел, чтобы я его полюбила.
Мёртвый человек долго-долго шел за моей спиной.
Странная, страшная ледяная шла за мной сила.

Я его пожалела. Я его пригласила.
Обняла. А потом полюбила.

Мёртвый человек рядом со мной лежал.
Он любил согревать от меня своё мёртвое тело.
Я ему отдавала всё, что могла.
Я ему отдавала всё, что имела.

Мёртвый человек взял из меня, что мог.
Он стал энергичней, смелей, веселее.
Он был вурдалак, этот ставший моим человек.
Выпил все и ушёл...
Я, наверно, мертва: ни о ком, ни о чём не жалею.

Ливанская песня

Всё в жизни случилось: отважный полёт,
Болото, скала, поляна.
И было ещё – я для тех, кто поймёт, –
И жар, и пустыня Ливана.

Я помню... я жажду... Я жизнь принесла
Ниспосланной капле. И что же?!
– Всё та же пустыня зияла и жгла,
Иголки вгоняя под кожу.
Погонщик – невидим, и кнут его крут,
а сверху поклажа обмана.
И я, как замученный жаждой верблюд,
Тащусь за миражем Ливана.

А шерсть моя – в клочья, а зубы – не в счёт.
А нежное сердце верблюжье...
За что меня, Господи, этак сечёт?
И что тебе, Азия, нужно?!
На что мне сдался твой далёкий Ливан –
Ходжи, попугаи и нарды,
И весь его сытый роскошный диван,
И кедр, и под кедром сефарды?

Нет сердцу ответа ни здесь и ни там:
Знать, в полную пала немилость.

Я слишком кружила по жгучим пескам –
И капля твоя испарилась.

«Горе мне! Я тебя не забыла...»

Горе мне! Я тебя не забыла
и опять вспоминаю, опять.
О как в юности весело было,
что копеечку, счастье терять.
Не других, а тебя вспоминаю
через тьму раскорчеванных лет,
Необниманного – обнимаю,
торопясь, пока жизнь, пока свет.

Горячо ли, гордец окаянный,
хорошо ли я стала любить?
Я полжизни была деревянной,
не хочу еще каменной быть.
Помогай же, глухарь, бедолаге
прилепиться к гнезду кое-как.
В одиночку в земной колымаге
слишком тошно проламывать мрак.

Июньское

В окошке бесится сирень,
цветя не весть кому.
Вот так же дева целый день
одна цветёт в дому.

Эй, выйти б деве на простор,
нанюхаться всего, –
Какой-нибудь бы встречный взор
и оценил её.

Но всё положено не всем.
И это я к тому,
Что даже дивная сирень
цветёт не весть кому.

Зелёный триптих

1

Искусная резьба мышиноного горошка:
листочки – ёлочкой,
цветы – сороконожкой...
а вот никто не хочет замечать.

А всё... а всё вокруг создание Божье,
хоть и растёт в глуши и бездорожье.
Но как о том глухому прокричать?!

Возьму домой: пусть рай узнают в банке
мышинные незрелые баранки,
пусть ближе будут, человека зря.

У нас, людей, всем скорость заправляет.
Куда рулит – сама того не знает,
но презирает малого, взорля.

2

Если лето – лечись от хвороб:
за порог – и корзиночку в руки.
После будет черничный пирог
и жаровня не треснет от скуки.
Собери чистотел, зверобой
и горошка мышинового тоже,
если ноет сокрытая боль,
притеснение сердечное гложет.
Этот день – без особых затей –
для блуждания в некошеных травах,
для опушек в залёжках лосей,
для нечаянной встречи на лавах.

3

В подзорную трубу – будильниковый ствол –
на звёзды смотришь ты в одну из лун обычных.
Ты хочешь разглядеть, как звёздный луч расцвёл,
кометы хвост узрев – далёкий, заграничный;

как пролетит она, повиснув над тар-тар-ом,
что у нас Землёй Людей зовётся...
Здесь новое опять нашествие татар,
и знаешь ты нутром, чем это обернётся.

Вот почему глядишь в будильниковый ствол
на мир, туда – в мираж высокого покоя...

А здесь всё в пустоту, всё – на гольменный стол,
потом – в навоз, в назем. И ни во что другое.

«Дай мне, Земля... дай подглядеть...»

Дай мне, Земля... дай подглядеть
тайну твою хоть бы на треть:
терпишь ли нас?
веришь ли в нас?
скоро ль пробьёт
крайний наш час?

Люди страшны. Нелюдей час.
Мучишь ли нас?
Учишь ли нас?
Гарью полно утро Земли.
Мать моя, определи.

«Дерево с обломанными ветками...»

Дерево с обломанными ветками
снова размечталось о весне.
Дождики невидимые, редкие
падают откуда-то извне.
Падают, в туманы превращаются.
Падают, молотят землю в грудь.
Господи! она еще вращается,
все ещё живая как-нибудь.

Платьвица батистовы заляпаны.
Поредела барыня-коса.
Хамскими бесчисленными лапами
кто не потаскал за волоса...
Родина, калика переходящая,
продержись! превозмоги себя!
Пёсья и воронья – наша все же ты,
грязь твоя, и та – моя судьба.
Никуда не денусь, бесноватая,
утопив в грязюке сапоги,
от вины (хоть в чем я виноватая?!).
Родина! себя превозмоги!

Дерево с обломанными ветками
снова размечталось о весне.
И мечтанья – солнечные, детские –

прядают откуда-то извне.

Речь

Гудим и воем,
точно ветер ночью.
Кто как горазд.
Зачем назвали эти вопли
речью –
спроси не нас.

И голос птиц,
и волчий голосина,
хлеща из кровеносного кувшина
на месяц-лал,
– лишь высвист
распрямившейся пружины,
лишь вихорь,
потревоживший морщины –
распадки скал.

Струя воздушная и на пути преграда –
вот все, что нам для речи надо.

И мы шумим, как липы над деревней,
о том, что мир несовершенен древний.
Что холодно.
Что сыро.
Что давно

не прислонялся к нашей черствой коже
светловолосый кто-нибудь, пригожий.

Природе мы – деревья.

Ей равно.

«Если Слово прекрасно...»

Если Слово прекрасно,
значит, это кому-нибудь нужно.

Так пашите, поэты,
на сотке несытной своей.
Да берите, пожалуйста,
плугом поглубже, поглубже,
хоть спине и земле
не бывало доселе больней.

Вы берите, пожалуйста,
плугом поглубже, поглубже,
но не глубже того,
чтобы скрылась из виду у вас
деревенька рябая,
что зовется столичными глушью,
и дурак деревенский
Иван – по призванию Спас...

Обращайтесь с землею
помягче, ребята, помягче.
Ведь не век на перинах
горячих придется вам спать.
Да, Земля тоже круглая.
Только не мячик, не мячик.

Зашвырнешь... А найдешь ли?
Возьмешь ее в руки опять?..

До 1984-го.

Ранние стихи

Конь ломовой

Ходит по лугу конь ломовой,
набивает отавою брюхо.
Смотрит холодно конь ломовой,
непогоде внимая вполуха.

Словно знает он, конь ломовой,
что за мор
этот мир ожидает.
Ходит конь по траве ледяной.
И под мордой трава оживает.

Что он думает, конь ломовой,
тёмной-тёмной своей головой,
непогоде внимая вполуха,
набивая бездонное брюхо?

Путешествие (Северные реки)

Это я – пятилетнее чудо с глазами.
Это я разгулялась Христом над водами,
потому что под боком моим мой хороший
пароход-скороход. Настоящий. Колёсный.
Я лежу себе с мамой на тёплой обшивке.
А внизу что-то хлопает мерно и шибко.
А вокруг – вдоль машинного отделения –
всего света как будто лежит население.
Среди ора и смеха несметных соседей
все мы едем туда, куда едем и едем...

Я-то знаю, что еду я в город Архангельск.
В сам архангельский город,
вот праздник так праздник!
Там, в Архангельске, мне говорили старшие,
люди умные очень и очень большие.
...Я лежу себе с мамой. Мне – мячику – мягко
на обшивке железной и в трюме не душно.
Ах, скорее, скорей, пароход распрекрасный,
ведь в Архангельск мне нужно!

А на палубе ветрено очень и стыло.
Пароход упирается в низкие тучи.
А вода всё назад, всё назад уносилась,
словно было там лучше...

Я-то знала, что ехала в город Архангельск.
Но проехали мимо него. Не причаля.
О, напрасно над нами летала, как ангел,
и о чём-то нам белая птица кричала.
Понесла нас болтанка по северным рекам.
А впадали те реки не в тёплое море.
И носился за нами по северным рекам
голос нашей сирены, белой от горя.

Маме поле

Расстелила, разметала зелену твою кровать.
Я тебя бы уважала – не умела уважать.
Я тебя бы так любила – не успела полюбить.
Я тебя не сохранила – потащилась хоронить.

Память белая в заплатах о добре твоём и зле.
Я брожу на мёрзлых лапах в остывающей золе.
Забываю... забываю про ненастную метель:
все грехи твои прощаю. Ты безгрешная теперь.

И теперь уж непременно попадёшь ты в алый рай.
Перепляшешь всю деревню, напоёшься через край.
У тебя там дел по горло: и обновы примерять,
и убитому Алёше вновь погоны пришивать...

Жаворонок

Не говори, что нет любви.
Не умаляй значенья света.
Пока никем ты не воспета,
затерянная меж людьми, –

не богохульствуй, не спеши,
не убивай словами сердце.
И так довольно соли с перцем
в твоей глуши.

Ни для кого ты не княжна.
И потому ещё не зная,
как ты нежна и как нужна,
ворчишь, голодная и злая.

И всё ж держись за небеса,
ведь звёзды в небе – не от злости.
Со злостью забивают гвозди.
А тут такие чудеса!..

От зачастивших слёз утрись
и потихонечку учись
у той влюблённой в небо птахи
в дешёвой серенькой рубахе.

Фотография, где мы рядом

Одари меня бережным взглядом,
отголоском хорошей песни,
с фотографии – где мы рядом,
с фотографии – где мы вместе.

Жизнь как жизнь: без поправок и лести.
Даже это большая награда –
фотография – где мы вместе,
фотография – где мы рядом.

Словно птица над вымершим садом,
словно птица с осеннею вестью,
фотография – где ещё рядом,
фотография – где ещё вместе.

Явление двойной звезды

И в полночь бойня замерла.
И вечность до беды.
Над смрадом скотного двора –
кристалл двойной звезды.

Мясник увидел и «Моя!»
спроста кричит звезде.
Не знает, бедный, что ничья,
что всюду и везде.

И тот лишь ею миг владел,
и тот лишь мил ей был,
кто нищим взором поглядел
и, как дышать, забыл.

Секрет белоснежных простынок

Говорят, что красивой была.
Может быть.
Красота деревенская проще.
Только мне
некрасивой её не забыть.
Вот стирает...
Вот простынь полощет...

От нагибки багровым лицо налилось.
Руки бедные не разгибались.
Так их вздуло и так от воды разнесло,
что руками утопших казались
(По весне, в ледоход, проносило лихих
по разбитой Двине. Навидались).
Но летают они над водой, распаясь.
Прорубь паром исходит недаром.
А потом на салазках
с простынками таз
в гору тащат, окутаны паром...

И зачем нам, голодным,
была чистота,
холод простыни этой хрустальной?
Видно, та чистота
и была ВЫСОТА

нашей северной мамы печальной.

...Много лет – без тебя.

Я смогла устоять и в жестокий мороз не загинуть.

Только вот не могу, не могу разгадать
твой секрет белоснежных простынок.

Видно, руки мои, чтобы воду отжать,
перенежены, слишком красивы.

Видно, вправду, коленями надо вмерзать
в белый лёд перед прорубью синей.

И лицом багроветь, и красу вытравлять
беспокойством о сыне, о внучке.

И на стуле нечаянно засыпать,
уронив некрасивые руки.

Ласточка

Когда над пашнями ветра, тоска и стужа...
а ласточке лететь куда-то нужно,
дай силу в крылья ласточке моей! –
мне всё равно, кто: Бог или злодей.

Когда блудливо чавкают болота,
когда на птицу самая охота
(а ласточке моей охота жить),
вложи ей крепость в слабенький умишко,
чтоб подросли ещё её мыслишки,
и не возликовала волчья сыть.

Смотри, как трудно ей в часы ненастья.
Дай счастья ей! А ласточкино счастье –
раскинуть руки и лететь... лететь...
над пашнями, над стужей и тоскою,
над всей непостижимостью мирскою
и чисто-чисто, человечно петь.

Болотные песни

Не чудо ли? Живы болота
под боком у самой Москвы!..
– В болото? Была нам охота, –
и нос отворотите вы.

Я вас понимаю – там скверно:
вода до пупа, комары
и разная прочая скверна. ...Брр-ы.

Да, явно – вы шиты не лыком.
Сидите в тепле, так и быть.
Не ваше, знать, дело – курлыкать,
болотную воду мутить.

А я соберусь. Может, завтра.
Заброшу за плечи мешок,
в него – немудрящий завтрак,
огонь, карандаш, гребешок –

на счастье, как встарь говорили, –
да встану пораньше... и вот
прекрасная бабка Ирина,
как знала, стоит у ворот...

Мы с нею чуток посудачим,

чайку на дорогу попьём
и напрямик, наудачу
небыстро в болото попрём.

...Болото в морошкиных звёздах.
Болото в черничных слезах.
Полнеба шевелится в вёдрах
и столько же – в наших следах.

Но это ещё не охота!
Она вот сейчас и пойдёт,
когда посредине болота
Ириша моя запоёт,

Ириша моя закурлычет –
ну что там твои журавли! –
без пропусков и без кавычек
болотные песни свои.

И больше такого полёта
нигде не подсмотрите вы...
Не диво ли? Живы болота
под боком у самой Москвы!

«Кто это там, среди могил...»

Памяти Николая Рубцова

Кто это там, среди могил,
во тьме неодолимой
звериным голосом завыл
о матушке родимой?

Кто вспомнил милости её,
половички простые?
Оплакал детство кто своё
среди болот России?

Кто жил, гуляка и босяк,
среди Москвы холёной
да и пропал незнамо как –
от рук своей гулёны?

Кто этот жалкий... этот бред...
всегда для всех неправый?

– Не сумасшедший. А Поэт.
В пяти шагах от славы.

Одинокий всадник

Хвойный и ольховый,
свежий, сквозняковый
лес какой-то лисий,
просветленный весь.
Это дивный мастер,
это Дионисий
красками святыми
поработал здесь.

Яблонька сухая
на холме плечистом.
Жизнь бесповоротна.
Но витает дух!
Всадник одинокий
скачет в поле чистом...
Конник ли небесный?
Колька ли пастух?

Прошение

Как просто не заметить, что возлюблен
стыдливой незатейливой душой.
Как просто думать, что невзрачный угол –
большой и светлый, и до смерти твоей.
Как просто примоститься посередке
таких же полуголых королей;
молиться водке, ездить в отпуск к тётке
и похваляться, кто кого... голей.

Нет проще, Небо, этой простоты.
Так почему же нищей этой дани
ты не протянешь всем в широкой длани?
Так грубо почему с иными шутишь ты?

Не просто им стоять в гремучем хоре.
Не просто – просто слушать и кивать.
Не просто в счастье и не просто в горе,
и сыновей не просто наковать.
...Подумай только – экие уроды!
Какой с них прок – зачем таких пасти?
По случаю сияющей погоды
прости ты, Небо, их и упрости!

«Какое-то другое тесто...»

Какое-то другое тесто...
с примесом дикости и чуда.
Ему в лоханке общей тесно.
Оно чуть что – ползет оттуда.

Оно выламывает крышку
иль даже стенку у лоханки
и на свободе гордо дышит
на все возможности дышалки.

Потом его сгребут и шмякнут,
сомнут под брань домохозяйки.
Но это после ребра крякнут,
и натуго закрутят гайки.

В хорошем тесте – страсть побега.
В хорошем тесте – дух свободы.
Такому тесту час победы
вынашивает ночь невзгоды.

...

Какое-то другое тесто,
с оттенком лихости и чуда.
Ему в лоханке общей тесно.
Ползи, ползи, дружок, оттуда!

Пристань Тихонь

Тёте Оле

Деревенские старухи
собрались по грибы.
Думы думали – надумали
меня с собою взять.
Слушать веньгалу устали
и решили-таки взять.

Деревенские старухи
быстро в тёмный бор бегут.
Бьют корзины по корявым
узловатым их ногам.
Мне, девчонке, не угнаться –
быстро так они бегут.

Вот рассыпались по лесу
Полька, Манька и Олёна.
Только крики оглашенных,
что на мху они сейчас.
Голоса, как у девчонок,
и глаза, как у девчонок.
Точно ведьмы пролетают,
только верески трещат.

Боровые посшибали.
Прогибаются корзины.
Возле нежно-жёлтой лужи
примостились на обед.
Дружно узелки умяли,
отряхнулись, покрестились;
и ещё версты четыре предстояло.
На погост.

На погосте, что над старой,
ох и тёмною водою
и деревней кривопятой
по фамильи Сухой Нос, –
и всего креста четыре,
серебристых и трухлявых.
Там, под этими крестами,
наши памяти лежат.

Тихо стонут сосны сверху,
Тоже старые творенья.
Тихо ветерок базарит.
Тихо дятел шебаршит.
Тихо земляника вянет
над опавшею могилой...
Тихо. Медленно. Степенно.
Торопиться ни к чему.

Деревенские старухи,
несдавучие старухи

Полька, Манька и Олёна
на могилки прилегли.
Тихо. Тихо.
...Пристань Тíхонь.

Возвращение с юга

Гале

Два дня на поезде, чтоб в холод
ввалиться с горем пополам...
Какой на юге зверский голод
по нашим сереньким дождям,
по их настырному стучанью
в подсиненные вечера...
Какое нежное скучанье
о том, что прокляла вчера.

Да что там говорить!.. Едва ли
подолгу небеса ласкали,
когда там только синева.
А тучка выглянет едва,
вы тут же с нею поспешали:
куда, зачем, что принесёт? –
и, обмирая, провожали
её, как друга до ворот.

Прогулка

...Чтобы услышать в себе Поэта и почти что понять,
мне пришлось на улицу выйти и лет двадцать там
погулять.

Путь прогулки был шаток и валок,
пролегал по зловонию свалок
(но душа моя закрывала глаза и на это:
что ни сделаешь, чтобы понять Поэта)!

Путь прогулки пролег в глухоте бездорожий;
грязи по уши там, и надо идти осторожней,
отскребаться порою и двигаться ноги молить
туда... о туда, где сияла
ведущая к радости нить.

Та нить уходила. Она не хотела тебя.

Уже холодало – и что-то глодало тебя.

Но чтобы услышать Поэта и что-нибудь все же понять,
и это... и это пришлось мне за милость принять.

...По закоулкам Поэта, по тупикам Поэта,
меж разных подобий света искать настоящего света!
И раньше – не умирать!

Пространство

Агатовая плоть
гигантского пространства...
что слишком велико для постоянства
и бесконечно – чтобы жить не вечно,
и беспокойно – чтоб забыть про войны...
агатовая плоть
пробита трещинами:
берёзами,
рябинами,
орешинами.
И любим мы сей камень нешлифованный,
окутаны пространством и окованы,
бессильные мужчины,
злые женщины –
его пустоты, мыслящие трещины.

Поздняя гостья

По дождю-непогоде на ночном пароходе
в дом приехала поздняя гостья.

Мать поставила чаю, и обе, вздыхая,
засиделись. Всю ночь не спалось им.

А ребёнка жалели. Разбудить не хотели –
и шептались невнятно, как ветер.

А ребёнок в кровати обманул свою мать
(Любят взрослых подслушивать дети).

Что за гостья такая? И лицом-то какая?
(Но без лампы они обходились).

Что могла рассказать ей молчаливая мать?

Что за тайны меж ними водились?

Голос так и светился, утешаячи лился
у неведомой странницы этой...

И забылся ребёнок среди тёплых пелёнок
до неспелого первого света.

...Пробудясь, наблюдает: мать полы подметает,
принялась за хозяйскую гору.

Может, сон ему снился?.. Он бы правды добился,
если б мог говорить он в ту пору.

В годы волчьих оскалов, жизнь, кого ты ласкала,
задубев в бесконечном мученье?

Кто пришёл и послушал сиротинушку душу?

Человек?

Или ты – провиденье?

Архангельская обл.

«Сумасшедшая лошадь...»

Сумасшедшая лошадь
по городу носится с воплями.
Опрокинула бабу, телегу и хлебный фургон...
Сумасшедшая лошадь
с глазами, едва не лопнувшими,
от каких удирает, шальная,
врагов и погонь?

Что сломалось в ней,
долготерпением отмеченной?
Не с того же она...
что недешев на рынке овёс?!

Плачет, плачет слезьми,
стонет стоном почти человеческим
очумелая морда
среди черного вихря волос.

Не смотрите на горе!
Уважьте однажды несчастную.
То-то лошадь была –
и горда и красива собой.
Вскинься, вспыхни ещё
Напоследок глазами пропавшими!
Сумасшедшая лошадь, сегодня покончат с тобой.

...Да увидишь луга,
золотые края мать-и-мачехи,
и сиреневый стебель,
и сизый вечерний туман,
и как скачут и носятся
коники: девочки, мальчики,
и трава, обнимая, шуршит и шуршит по ногам.

Да услышишь, как твой
жеребёнок-ребёнок восторженно
ржёт и ржёт невозможного счастья мотив.
Подойди же к нему!
Ты не сбита ещё. Не стреножена.
Ты среди голенастых, горластых
дружков и подружек своих.

Детский концерт в инвалидном доме

В катанцах драных, саржевых формах,
в галстуках с жеваными концами,
какие мы куцые были, наверно.
Но пусть и это останется с нами.

...Нам было лучше... И мы давали
детский концерт в инвалидном доме.
Что ты читала? И как принимали? –
всё отлетело куда-то. Кроме
запаха бедствия, что, как обух,
нас шибанул по носишкам трепетным...
и как лежали калеки бок о бок...
и мы с пионерским над ними лепетом.

После концерта тебя стошнило,
пропал аппетит даже к жмыху ворованному.
И долго-долго ты силы копила
и нежные чувства к миру терновому.
И ты поняла, с чем Судьба обвенчала
и что приказала зачать на соломе.
...Тебе было лучше. И ты читала,
читала опять в инвалидном доме.

Ожидание снега

Белой крупкой,
мелкой, хрупкой,
падает снежок
на холодные овраги,
на болотные коряги,
в поле на стожок.

Небо выгнулось под тучей.
Снегопад идёт могучий,
Ванечка-дружок.
Наметёт за ночку с неба
по колено, может, снега,
может, на вершок.

Жить невесело без снега,
как позавтракать без хлеба.
Музыка не та.
Рад-радёшенек, хохочет.
Прокатиться с горки хочет
Ваня-простота.

Если души переселяются

Когда я умру,
пусть я буду собакой,
большой и лохматой
собакой-гулякой.
Мне это нетрудно.
Подумаешь, дело! –
хвост нацепила
да шкуру надела...
А жить по-собачьи
всегда я умела:
молчать выразительно,
скулить ночами,
внушать человеческое очами,
не класть где попало
поганых горошин,
протягивать лапу
людям хорошим.

Утица летела

Утица летела
через море-море,
утица летела,
от зимы бегла.
Утица летела...
Через горе-горе
крестная дорога утицы легла.
Где её подружки? Голо-одинок.
Не для одиноких этот жуткий путь.
Негде в этом мире бури и мороки,
некак в этом море сесть и отдохнуть.
За тугой волною
спрячется от ветра,
несколько мгновений
дух переведёт –
и, другой волною
до смерти огрета,
ледяного сала
досыта хлебнёт...

То волна взлетела...
То она взметнётся
над кровавым морем,
ужаса полна.
Всё-таки летела!..

Сердце оборвётся,
только вспомнит это.
Смилуйся, Волна!

Восточно-Сибирское море

«Вы, женщины с мужскими лицами...»

Вы, женщины с мужскими лицами,
висящие на красных досках
наряженными активистками
с грудешкой плоской,
в кузнечном, прядильном и ткацком
с прилежностью, почти батрацкой,
с упрямством ломовых коней
ведете счет ночей и дней.

И что сейчас на белом свете:
что где стряслось,
чьи гибнут дети,
какой народ свалил царька,
чей муж валялся у ларька –
всё вам расскажут на собрание,
на заседание, совещанье...
И будете негодовать,
мужские брови супить строго,
мужские взгляды, как острогу,
на провинившихся метать.

А вечером из магазина
придут подружки Нина, Зина...

И – ну их, девоньки, мужей!
Пей и закусывай резиной
колбасной красной веселей.
Пей, Зинка, в прошлом недотрога,
сосулька хрупкая, – грешил!..
Эх, слава Богу, денег много...
Вот самосольчик для души.
Не мы ль с тобой, как черти, рано
встаем, чтоб топтать в робе-рвани
и, возвращаясь, падать в мыле?!
Ударницы труда не мы ли!..

С мужскими лицами бабенки
простые грубые гребенки
поглубже в голову воткнул
(нет, не к истории причастность
вдруг ощутив, а лишь несчастье).
...И песни хмуро-заводные
столетней давности поют.

Завод

Мимо жёлтого завода
пролетает электричка.
Толпы жёлтого народа
поглощает тот завод.
Это только с непривычки
цвет завода удручает
и ужасным чем-то пахнет
с непривычки. И пройдёт.

В серых зарослях тумана,
в мутной сыворотке пара
возле Кузьминки убогой
присосался тот завод.
Нет, дается жизнь не даром.
К сожалению, не даром.
Слава Богу, всё проходит.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.